**''Война показала себя в городе...''**

**Воспоминания Л.М.Зерчанинова**

*Лев Михайлович Зерчанинов, заслуженный работник культуры РСФСР, с 1966 года до 1990 года руководил Горьковским историко-архитектурным музеем-заповедником, одним из крупнейших провинциальных музеев Российской Федерации. Живет в Нижнем Новгороде, пенсионер. В настоящее время работает над книгой воспоминаний о своей жизни, в которой большое место будет уделено рассказам о том, как развивался музей в его время. Предлагаем читателю фрагмент из будущей книги, в котором не совсем традиционно представлен г. Горький военной поры.*

О войне мы с отцом услышали на станции Арзамас, где поезд стоит долго. 22 июня было воскресенье, рано утром мы выехали на каникулы в Ягодное. Дорога как раз и лежит через Арзамас. После Арзамаса - еще несколько остановок. А выходить можно на разъезде Ревезень - и тогда через Тилинино идти в Ягодное... Я помню только людей у станционного репродуктора да помрачневшее лицо отца... Сообщение о войне не вызвало у меня каких-то памятных впечатлений.

...Война показала себя в городе. В "своей" семнадцатой школе мне уже никогда не довелось учиться: она к началу учебного года была занята под госпиталь. Занятия начались в школе ї 20. Ее теперь нет, как нет 17-й, 23-й, в которой тоже пришлось поучиться. Но это потом. А сейчас оказалось, что у нас новая учительница. Звали ее Анна Николаевна Новоторова. Жила она на Больничной улице (теперь Нестерова). Много лет спустя, по воле судьбы, мне приходилось бывать рядом с ее домом, в доме гостеприимных Елизаветы Евгеньевны Поповой (наша художница в музее) и Кирилла Александровича Яковлева (завуч 14-й школы). Она хорошо помнила А. Н. Новоторову, но к этому времени старой учительницы уже не было. А она, пожалуй, единственная из школьных учителей, что запомнилась мне на всю жизнь своим добрым сердцем.

Занятия в школе шли. В классе появились новенькие - эвакуированные... Скоро наступили холода. В школе практически не топили, мы мерзли... Помню, Анна Николаевна рассказывала что-то о строении человеческого организма. Ей хотелось показать это на живом человеке. Из всего класса один Витька Хальзов решился снять рубашку на несколько минут. Вскоре он посинел и затрясся... Все меньше мы играли на переменах, больше сидели, разглядывая учебники по истории, в которых почти все фотографии были густо зачеркнуты прошлыми владельцами... Ввели "завтраки". Во вторую перемену приносили поднос с тонкими кусочками хлеба, чуть-чуть посыпанного сахарным песком. Сначала были такие, кто отказывался в пользу более голодных. Позже таких не припомню... И дома становилось все голоднее. Запасов в семье никогда не водилось. Не было их и теперь... У нас не было ни сада, ни огорода... А вскоре отца забрали на рытье окопов. Было такое. Следы этих титанических трудов еще и сейчас можно увидеть в наших краях... Часто стал болеть, особенно ближе к зиме. По дороге домой заходила Анна Николаевна, приносила "завтрак" - кусочек... Валенки были, но с худыми пятками. Бывало, идешь по всей Володарке, а из дыры в пятке тащится старый чулок, намотанный на ногу, да вот вывалившийся в дыру. Слабел организм, слабела голова... Бывало, чуть до школы доплетешься, хвать, а портфель с книгами, тетрадями, пеналами (носил свои и сестры) забыл дома... Плачешь, а идешь обратно... Как прошла зима, сейчас, спустя столько лет, просто не помню.

Летом 42-го мы с отцом уехали в деревню. "Женская" половина осталась, кажется, дома. Мы работали в колхозе. Что-то возили на телегах, засыпали горох в амбары... Помню шум молотилок, пыль, голоса. Один месяц (кажется, тоже в 42-м) пробыл вместе с сестрой в пионерлагере в Курмыше. Это на Суре. Везли нас туда долго на пароходе "Степан Халтурин". Кстати, я был там еще раз год спустя. Может быть, что-то путаю, но скорее так. Места красивые, речка Курмышка, какая-никакая еда регулярно. Удавалось даже иногда конфетку сберечь для сестры - она была в самом младшем отряде. У меня даже были кое-какие деньги: у чувашей покупали ягоды. За стакан любых ягод они просили рубль. Помню, Лешка Козлов, он жил рядом с роддомом на улице Фигнер, взял у меня взаймы трешку. Да так и забылось. Встретились через много лет, посмеялись. Тогдашняя трешница, на которую можно было купить три стакана ягод, к этому времени превратилась в три копейки, на что и пары ягод было уже не купить... Надо быть справедливым: пионерские лагеря многим помогли подкрепиться и уцелеть.

...Осенью 42-го я пришел в 5-й класс с опозданием на несколько дней: не могли почему-то вовремя приехать из деревни. Лето меня подбодрило, подкрепило. Жизнь казалась не такой страшной. В этом году решили разделить сначала классы в одной школе, а потом и школы на мужские (!) и женские. В 23-й школе, где предстояло учиться в 5-м классе, девочек отгородили по коридору какой-то фанеркой, у них был свой ход, у нас свой. Эта школа была там, где сейчас новый полиграфический корпус (ул. Варварская, 32). Началось с того, что кто-то из учителей (а в 5-м классе их было уже много) в первый же день вызвал меня к доске что-то отвечать, попрекая меня уже нахватанными двойками. Я ничего не понимал, стал объясняться. Оказалось, злостный двоечник В. Хальзов выдал себя за меня и бодро хватал двойки ("плохо"). Ну, все утряслось. И географичка-старушка запомнилась именно здесь, так как она увлеченно рассказывала о многих странах, особенно о Швейцарии, в которых побывала до революции, используя для этого летние отпуска. Мы вежливо делали вид, что верили в эти сказки...

Других учителей в 23-й школе я не запомнил... Вскоре наступили совсем тяжкие времена. Я часто болел, появились огромные фурункулы на лице, на шее... В школе приставали с непрерывными уколами то от одного, то от другого. Надо сказать правду: я ни одного укола в школе не дал сделать - умудрялся... Если раньше дежурные проверяли, чисты ли руки, то теперь учителя шерстили в голове и за воротом - у многих появились вши. Мать старалась держать нас в чистоте, и у меня насекомых не было... Осенью отца взяли на фронт... Однажды он приходил на побывку, когда их, измученных в окружении, отпустили на несколько дней. Помню только, как стоял он у окна, наблюдая за налетами немцев. Рядом, на облвоенкомате, беспрерывно били зенитки, шарили лучи прожекторов, горели Ленинский завод и автозавод, взлетела на воздух ни в чем не повинная хлебная лавка около Спасской церкви. Взрослым было страшно. Он так и сказал: "У вас тут хуже, чем на фронте. Там хоть у своей пушки вроде защищен... А тут... полная беспомощность..." На фронте его сделали артиллеристом, таскал с такими же бедолагами пушку. Вскоре он опять ушел...

А мы не боялись... Стояли кучкой во время тревог под огромным тополем, что рос около кузнецовского дома, слушали вой самолетов, следили, где вспыхнет новое зарево, подбирали прямо у ног горячие осколки зенитных снарядов, посмеивались над теми, кто бежал в бомбоубежища на откос. Когда было тепло, ходили за многие километры на трофейные свалки за станцией Сталинская, в теперешнюю Кустариху... Чего там только не было. Особенно после битвы за Москву, после Курской дуги, Сталинграда... На обратном пути нас поджидали ленивые канавинские шакалы - хулиганье. Они отбирали что получше. У меня долго хранилась немецкая целенькая каска и штык - все со свалки.

Война делала свое черное дело. Ушел на фронт и не вернулся Ваня Рагулин - единственный сын Алексея Ивановича и Клавдии Митрофановны. "Ванюшка!" - рыдали они во дворе. Ушел и не вернулся Борис Павлович. Говорили, что его представили к Герою. Но кто знает... Умер на наших глазах Толька Климов (он - подросток - ушел без спроса с завода к матери, за что его посадили, выпустили с туберкулезом) - склонился над тазом и истек кровью... Умер Витька Коробов. Ушел на фронт и отец В. Кузнецова - Никандр Владимирович. Но вскоре вернулся - полуслепой... Нам - ребятишкам - по иждивенческим карточкам давали по 300 граммов полупропеченного хлеба. Бывало, если попросишь, то давали за 2-3 дня. А потом? Самым страшным было потерять карточки. Я один раз нашел спичечный коробок с карросина море. Жечь их приходилось не только для приготовления какой-либо еды. От них шло тепло. А если положить сверху целый красный кирпич - тепло шло и от него, причем долго после того, как керосинку погасят... И спички следовало экономить. Каждый спичечный "гребешок" доставался с трудом. Да, да! Кто-то изобрел спички в гребешках; маленькие спички - щепки и приклеенная полоска черт знает чего, от чего эти щепки загорались! Не помню, как они добывались. Не помню, как куряки добывали курево (я не курил). Табак, махорку в пачках продавали или обменивали на хлеб на рынке - это помню. Отец курил.

Когда дрова не брал керосин, надо было, используя малейшее загоревшееся, затлевшее место, раздувать. Чтоб из искры возгорелось пламя, надо было, используя свои неокрепшие детские легкие, дуть, дуть и дуть в это внушавшее надежду тлевшее местечко. Дрова шипели, плевались какой-то пеной... Но в конце концов разгорались. Велико было наслаждение сидеть у печки. Сушить мокрые штаны, валенки, носки - или что там их заменяло. На улицу приходилось выходить - а там дождь, слякоть, снег - потом греться у боковой стенки, сидя на родительской кровати. Иногда можно было залезть на чуть теплую печь (лежанку) под кучу какого-то тряпья. Были дни, когда, поев чего-то и угревшись на печи, я даже пел что-то (наверное, чтоб не плакать!). Слушать меня было некому. А на соседей я не реагировал, когда они стучали в переборку. Но было это редко.

До войны ли, во время нее ли - ходили мы, ребятня, со взрослыми в какой-то бор, по моим тогдашним представлениям, довольно далеко. Была при нас какая-то тележка, веревка, топорик. Рубить в бору (у него было свое название, а какое?) запрещалось. На сборку сучьев, валежника лесники закрывали глаза. Но не мы одни такие были. Валежник утаскивали, кто жил к бору поближе. Бывало, с оглядкой, ломали засохшие сучья... Домой тащили полную тележку, да еще и через плечо сучки... Но все это, я думаю, капли в море. Знаю, что многие собирали коровьи лепешки, сушили их и топились ими. Топили и соломой... Но в деревне ведь надо было топить и летом. Попробуй в деревне летом не испечь хлебы, не сварить еду на ораву, еще скотине надо что-то припасти.

Учебный 1943/44 год вылетел из моей жизни полностью... В один из ледяных дней поздней осени 43-го шел я от Парфеновых. Вячеслав Павлович оказался нужен в тылу, на фронт не попал, и семья их не очень голодала. И время от времени я ходил к ним "в гости", зная, что тарелка супа - чаще всего с маленьким кусочком мяса - мне всегда обеспечена. Так было и на этот раз. Дошел я до угла Свердловки и Воробьевки и остановился, прислонившись к каменной стенке углового дома: страшная боль в легких не давала шагу шагнуть... Как дошел - не помню... С температурой 40,5° очутился в детской больнице на Арзамасском шоссе (пр. Гагарина ныне). Провалялся долго. Кормежка плохая, но была. В палате температура не повышалась выше восьми градусов. Постоянно зябли под тонкими одеялами, просили еще. Было страшнейшее воспаление легких... Выписали из больницы - приписали к противотуберкулезному диспансеру, что на Краснофлотской. В направлении указали - прикорневая эритема. Было плохо. Родителям удалось достать путевку в детский санаторий для ослабленных детей в д. Тяблино Городецкого района. Как добирались туда - не помню. Помню только, что в большом деревянном доме было всегда тепло и чисто, кормили хорошо - по тем временам. Спали мы в "тихий час" без принуждения, гуляли в чистом сосновом бору вволю, а вечером никто не заставлял спать "по звонку". Была прекрасная пионервожатая-воспитательница. Молодая и - так уж нам, может быть, казалось - красивая. До того симпатичная, что я - когда она спросила, кто еще не вступал в пионеры, заявил - чтобы доставить ей удовольствие - что еще не "опионерился". Хотя, естественно, один раз вступал в школе, затем в больнице. И она перед строем полумертвых (или встающих из мертвых?) детей приняла нового пионера. Казалось, ей доставило удовольствие. Эта вожатая стала "предметом" тяжелейших переживаний Севы Голованкова. В городе он жил на улице Карла Маркса, был старше большинства из нас. Влюбился в юную вожатую со всем пылом юности. Помню, как мы сидели на опушке леса, на поваленной сосне, и он плакал навзрыд, рассказывая мне о своей любви... Говорил ли он что-нибудь своему "предмету" - не знаю. После Тяблина я его не встречал. Они были из Ленинграда и, видимо, туда и уехали.

Другого обитателя санатория - Витьку Цоппи, эвакуированного из Москвы - не запомнить было просто невозможно. Когда за окном темнело, мы все собирались в кучку, и Витька по несколько часов(!) пересказывал романы Дюма, рассказы Конан Дойля... Прошло более пятидесяти лет, а я до сих пор удивляюсь, как он мог запомнить столько и с такими подробностями, что у нас дух захватывало во время этих "чтений"... Много лет спустя я встретил имя рассказчика в "Литературной газете". Специализировался он на международной теме. В одну из поездок в Москву я разыскал его (по телефону) на работе. Поговорили, но повидаться не удалось: он уезжал в командировку в Польшу... Из Тяблинской эпопеи мне еще вспоминается югослав Войко Милованович. Его имя попадалось мне потом в "Огоньке": в группе альпинистов они что-то покоряли. Но, может быть, это был и не он. ...В первых числах мая 1944-го я - в чем-то зимнем, в валенках - шлепал по лужам от пристани домой. Не думаю, что кто-нибудь обратил внимание на мою несуразную личность - тогда много бродило таких медленно воскресавших после тяжелейшей зимы...

Дома мне сказали, что две недели тому назад умер отец - 14 апреля 1944 года. Я подозревал это еще и в Тяблине, читая чересчур оптимистичные письма из дома... Поздней осенью 43-го отец пришел с фронта тяжело больной, где-то они попали в окружение, еле выбрались. Поддержки фронтовику, защитнику Отечества никто вовремя не оказал. Он и умер в госпитале, похоронен в Марьиной роще. Так я стал еще одним из миллионов российских сирот.

О дальнейшей своей жизни я думать не думал. И слава Богу. В школу я, конечно, уже не пошел. Все больше сидел дома. С едой по-прежнему было плохо, делать я ничего не мог... Вскоре кто-то помог устроить меня в летний пионерлагерь в Александровке. Об этом времени сохранилась в "Горьковской Коммуне" за 44-й год заметка какого-то корреспондента, побывавшего в Александровке: он там беседовал почему-то со мной и написал о своих безрадостных впечатлениях.

Вскоре (через несколько дней после начала смены), собрав свои нехитрые пожитки и не предупредив никого, я ушел домой... Помню, приходила за мной оттуда воспитательница, уговаривала вернуться. Но, видимо, впечатления от Александровки были неприятными - туда я не вернулся... В этом же году пришла повестка из военкомата, в которой М.И. Зерчанинову предлагалось с котелком и ложкой явиться туда-то. Повестка долго валялась у нас, второй не последовало... Оставшиеся месяцы лета прошли где-то на Кудьме, где мать работала бог весть кем в каком-то подсобном хозяйстве...

А осенью пошел в шестой класс уже 19-й школы (пл. Славянская). Именно здесь стал замечать, что вижу слабо. Сел на первую парту. Соседом на два года стал Дима Соколов. В этом же классе учился Саша Мельников. Он многие годы потом работал в политехническом институте, заведуя кафедрой. Встречались мы довольно часто, когда я жил в микрорайоне в Лапшихе, он тоже. Моим одноклассником был Вениамин (Венка) Хлыбов. Я с ним долго поддерживал отношения, когда он уже стал генералом, профессором военной академии в Москве; во время приездов в Горький я его всегда устраивал в "Россию". Учились также Саша Алейник, В. Кузнецов и другие. Школа была мужской. В. Хлыбов и А. Мельников звались в классе "слонами". Они резко отличались от остальных своей физической силой. Они, видимо, глядя на меня - полудохлого, взяли надо мной негласное шефство. Оно сказывалось в том, что никто не смел меня тронуть пальцем без последующего возмездия. А когда в класс на подносах приносили бесплатные "завтраки" - куски хлеба с сахарным песком - и мы все ордой бросались на дежурного, уже, пожалуй, не столько от голода, сколько хулиганя, мой кусок, а то и 2-3, всегда оставался мне. Ну в этом, я думаю, заслуга была не только "слонов", а и отсутствие жестокости в наших ребятах, которые уже понимали, что к чему... И никогда не вырывали кусок у голодного.

Учился я средне. Удивляюсь, как еще справлялся; особые неприятности были с математикой. Вел ее у нас директор школы Балов (Николай Николаевич?), звали которого мы "мяшок с картошкой", так как любимый его пример был "мяшок с картошкой да еще мяшок с картошкой". Было у нас еще "военное дело". Мы изучали винтовку, задыхались в вонючих противогазах, маршировали - истощенные дети - под команду. Если что-то нарушали, он останавливал "урок", ставил нас по стойке "смирно", заставлял вытянуть вперед руки и стоять столько, сколько ему надо. И так два учебных года - 1944/45 и 1945/46. Весной 1946 года были выпускные экзамены. Как-то я их сдал. Наша учительница (истории?) и классный руководитель Дубиновская заметила, бросив на меня взгляд: "Что, Зерчанинов, даже на экзамены не мог надеть чего-нибудь получше?!" А я не мог, действительно не мог: просто ничего больше не было... Да и был я в таком состоянии, что был равнодушен к тому, что на мне надето.